

Владимир Владимирович Напольских

доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, ведущий научный сотрудник Центра этноистории, Институт истории и археологии Уральского отделения РАН (620108, Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 16); ведущий научный сотрудник топонимической лаборатории, Уральский федеральный университет (620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51)

E-mail: vovia.nap@ya.ru

<https://orcid.org/0000-0002-1549-9639>

Этнонимика как историко-филологическая дисциплина: общие и конкретные решения, случайность и системность

Аннотация

В статье на примере новых гипотез происхождения финно-угорских этнонимов рассматриваются методологические проблемы этнонимических исследований. Единичность этнонима и отсутствие, на первый взгляд, возможности статистического обоснования этимологических решений, как это делается, например, в топонимике, приводит, во-первых, к обилию случайных и произвольных этнонимических этимологий, во-вторых — к кажущейся зависимости их обоснования и принятия от наличия исторической достоверной информации о возникновении того или иного этнонима. Несмотря на это, автор показывает, что историческое изучение этнонимии может рассматриваться как методологически самостоятельная область историко-филологических исследований, в которой анализ материала обладает необходимой для верификации выводов системностью при соблюдении четырех условий. 1. Лингвистическая корректность этимологии, с особым вниманием к деталям как фонетического и семантического рода, так и историческому обоснованию этимологии, необходимость доведения этимона по возможности до наиболее точного определения конкретного языка-источника — в противоположность обычным общим решениям. 2. Учет этнонимических «универсалей», подтверждение решений типологическими аналогиями, действие которых, однако, всегда определяется конкретной этноисторической ситуацией. 3. Учет особенностей рассматриваемой этнонимической традиции, присущих ей моделям номинации, также проявляющихся в зависимости от конкретно-исторических условий. 4. Учет того обстоятельства, что проявления этнонимических «универсалей» и этнонимических традиций зависят от конкретной этноисторической ситуации, которая реконструируется для времени и места предполагаемого сложения этнонима; необходимость вписать этоним в реконструируемую историческую картину или скорректировать с помощью этнонимических данных этноисторическую реконструкцию. В статье рассматриваются примеры из прибалтийско-финской, саамской, мордовской, марийско-мерянской, пермской и угорской этнонимии. В историко-сопоставительном

и типологическом плане привлекается также материал по этнонимии самодийских, сибирских, европейских и американских языков.

Ключевые слова

этнонимы; методология этнонимических исследований; этимология; сравнительно-историческое языкознание; языковые контакты; этническая история; финно-угорские языки

Для цитирования

Напольских В. В. Этнонимика как историко-филологическая дисциплина: общие и конкретные решения, случайность и системность // Вопросы ономастики. 2025. Т. 22. № 2. С. 9–30. https://doi.org/10.15826/vopr_onom.2025.22.2.014

Рукопись поступила в редакцию 23.01.2025

Рукопись принята к печати 01.02.2025

Vladimir Vladimirovich NAPOLSKIKH

DrHab, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Leading Research Fellow, Center for Ethnohistory, Institute for History and Archaeology, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (16, Sofyi Kovalevskoy St., 620108 Ekaterinburg, Russia); Leading Research Fellow, Toponymic Laboratory, Ural Federal University (51, Lenin Ave., 620000 Ekaterinburg, Russia)

Email: vovia.nap@ya.ru

<https://orcid.org/0000-0002-1549-9639>

Ethnonyms as a Historical and Philological Discipline: General and Specific Solutions, Chance and Pattern

Abstract

This article addresses key methodological issues in the study of ethnonymy, focusing on new hypotheses on the origins of Finno-Ugric ethnonyms. The singular nature of ethnonyms, and the apparent lack of opportunity for statistical validation of etymologies — as is more common in toponymy — has led, on the one hand, to a proliferation of speculative and arbitrary explanations, and on the other, to a reliance on the availability of historically verifiable data to support or reject such proposals. Despite widespread acknowledgement of this challenge, the article argues that ethnonymic analysis can function as a methodologically distinct branch of historical and philological research. It demonstrates that conclusions in this field can be systematically verified, provided four key conditions are met. These are as follows: 1) Linguistic accuracy in the proposed etymology, with close attention to both phonological and semantic detail, and to historical plausibility, including the need to identify the etymon as precisely as possible within a specific source language, rather than settling for generalized solutions. 2) Consideration of ethnonymic “universals” and the support of etymological proposals through typological analogies — while recognizing that such parallels are always shaped by specific ethnohistorical circumstances. 3) Awareness of the distinctive naming conventions present in the ethnonymic tradition under study, which themselves reflect particular historical conditions. 4) An understanding that both the application of universals and the functioning

of naming traditions are context-dependent, and that any proposed etymology must either align with or help to revise the reconstructed ethnohistorical setting in which the ethnonym likely emerged. The article illustrates this approach through examples from Balto-Finnic, Sámi, Mordvin, Mari-Meryan, Permic, and Ugric ethnonyms. In comparative historical and typological terms, it also draws on ethnonyms from Samoyedic, Siberian, European, and Amerindian languages.

Keywords

ethnonyms; methodology of ethnonyms studies; etymology; comparative linguistics; language contacts; ethnic history; Finno-Ugric languages

For citation

Napolskikh, V. V. (2025). Ethnonyms as a Historical and Philological Discipline: General and Specific Solutions, Chance and Pattern. *Voprosy onomastiki*, 22(2), 9–30. https://doi.org/10.15826/vopr_onom.2025.22.2.014

Received on 23 January 2025

Accepted on 1 February 2025

Историческое исследование этнонимии имеет свою специфику, отличающую его от многих других типов ономастических штудий. Как известно, в топонимике (как, впрочем, и в любой науке) основным методологическим принципом является системность: невозможно этимологизировать отдельно взятый топоним, в особенности субстратный, происходящий из неизвестного / мертвого языка. Любая этимология такого рода обречена оставаться произвольной, данной *ad hoc* исследователем в соответствии с его эвристическими способностями, историко-лингвистической эрудицией и, наконец, просто его интересами. Только анализ массового материала, вычленение системно повторяющихся топоформантов, подтверждающееся перекрестными примерами, метонимическими кальками и выделением географических ареалов, может привести к надежной, статистически верифицируемой реконструкции субстратной топонимии и обоснованным этимологиям топонимов.

Исследователь этнонимии, в особенности основных этнонимов, собственно названий народов, число которых в каждую эпоху и в каждом отдельно взятом ареале невелико, очевидно, имеет дело с немногочисленными, имеющими особую, отдельную историю феноменами. Во всяком случае, о статистической системности, опирающейся на массовый материал, речь вести не приходится: данные весьма ограничены.

Прежде чем продолжить разговор о проблеме системности в этнонимии, необходимо подчеркнуть один важный методологический аспект, напрямую вытекающий из положения о видимой единичности этнонимов: в этой области следует быть особенно аккуратным при обосновании этимологических решений. Речь идет не просто о соблюдении стандартных принципов сравнительно-исторического языкоznания, что само собой разумеется, но о необходимости

специального внимания к деталям, доведению этимона до максимально возможного точного источника. К сожалению, нередко даже давно устоявшиеся и вошедшие в нормативные словари решения являются слишком общими, этимология не доводится до (предполагаемого) конкретного языка-источника, считается возможным ограничиться отсылкой к наличию параллели к основе этнонима в той или иной группе языков, не уделяя внимания словообразовательному анализу, семантическим нюансам, возможности использования предполагаемого этимона в качестве этнонима и т. д. Примером могут служить этимологии этнонимов *мордва* (до последнего времени не был проделан словообразовательный анализ (древне)русского слова, поэтому оставалось невыясненным его происхождение; общая — и практически ошибочная — отсылка к иран. *mard* ‘человек’ не соответствовала реальному употреблению этого слова в иранском ономастиконе и не позволяла сделать никаких выводов относительно времени и обстоятельств появления данного этнонима [подробнее см.: Напольских, Сурикова 2024]) и *мари* (не была строго обоснована этимологическая связь названий *мари* ~ *меря* ~ *мурома*, не уточнялся конкретный источник заимствования и его семантика, что опять-таки не давало возможности сделать никаких исторических выводов о времени и обстоятельствах появления этих этнонимов [см. подробнее: Напольских, Савельев 2023; Напольских 2024]). Невнимание к деталям и поверхностные отсылки к общим этимонам приводили к тому, что даже в работах, претендующих на вполне научное и даже методологическое обобщение этнографических исследований, возникали такие, например, фантастические высказывания: «...*мордва* <...> принадлежит к тому же кругу этнических названий, как и многие другие, относящиеся к финно-уграм, вроде следующих: *меря*, *мурома*, *мари*, (*уд*-)мурт, (*коми*-)морт. По-видимому, в какой-то период жизни степей южной России здесь получил широкое распространение термин *мер-*, *мар-* и т. д. в различных звуковых вариантах <...> означавший одно и то же: ‘смертный’, ‘человек’, ‘муж’», с примечанием: «...видимо, сюда же относится и имя *киммерийцы*. Ближе всех слов этого рода к имени мордвы подходит нов.-перс. *mard* ‘муж’» [Попов 1973: 103]. Не уверен, что именно А. И. Попов первым сформулировал эту сентенцию, но, вероятно, именно с его нелегкой руки она в дальнейшем повторялась и повторяется до сих пор у самых разных авторов.

Итак, внимание к деталям и точность этимологического анализа в этнографии абсолютно необходимы. Тем не менее объективная трудность, единичность анализируемых явлений, на первый взгляд, превращает историко-этнографический анализ этнонимии в подбор более или менее случайных параллелей, без возможности научной верификации (см. выше, у А. И. Попова:

«п о д х о д и т нов.-перс. *mard*»¹). Действительно, надежными признаются, как правило, этимологии лишь таких относительно новых этнонимов, для которых известны исторические обстоятельства и языковая среда их появления, и лишь с той степенью глубины, какую эта информация допускает. Например, прозрачны этнонимы *украинцы* (по южной окраине Великого княжества Литовского) или эст. *eestlased* ‘эстонцы’ (от эст. *Eesti*, заимствованного не раньше XIII в. из нем. *Estland*; но этимология немецкого слова, имеющего свою, не связанную с эстонцами историю, уже требует более глубоких изысканий, с не столь очевидными результатами [см.: Хайду 1985: 100–101]). Понятно, как и когда славянское население античной Фракии и Мёзии получило имя *болгары*: тюркское происхождение этого этнонима не подвергается сомнению, но более глубокие его истоки остаются смутными, и существует несколько конкурирующих этимологических версий [см.: РЭС 3: 331]. Такая зависимость от знания историко-лингвистического контекста лишает этнонимию самостоятельной эвристической ценности исторического источника. Между тем это может вызывать лишь сожаление: выяснение происхождения этнонима, как правило, позволяет реконструировать важнейшие, переломные моменты этнической истории (это видно и по приведенным выше примерам), значимость этнонимии очевидна.

На самом ли деле этнонимия столь хаотична? Можно ли увидеть в этнонимах некоторую систему, чтобы они перестали быть отдельно существующими феноменами, гипотезы о их происхождении могли быть верифицированы и этнонимика внесла бы свой важнейший вклад в изучение истории? Каковы могут быть основания такой системности? Думается, можно предложить как минимум три принципа, позволяющих систематизировать этнонимы.

Во-первых, довольно распространено мнение о существовании своего рода **«этнонимических универсалий»**. Возможно, общие принципы, которыми руководствуются люди, именуя свои и чужие сообщества, действительно существуют, однако конкретные варианты, обычно предлагаемые на эту роль, не всегда подтверждаются, универсальность рассматриваемых моделей не доказана, и я не уверен, что может быть доказана, — поэтому я ставлю этот термин в кавычки. Типичный пример — якобы частотное использование в качестве самоназвания слов со значением ‘ч е л о в е к , л ю д и’ (без дополнительных определений, с имплицитным противопоставлением себя, своих — «людей» чужим — «нелюдям»). Как было показано в уже цитированной статье [Напольских 2024: 14–15], такие названия характерны скорее для относительно изолированных первобытных племенных образований, а для народов,

¹ Разрядка моя. — В. Н.

активно контактирующих с соседями и вступивших на путь политогенеза, какими уже несколько тысяч лет являются, например, все финно-угорские народы Восточной Европы, они нетипичны. Даже для народов Сибири случай нивхов, у которых самоназвание (амур.) *нивхгу* практически совпадает со словом ‘человек’, достаточно редок. Другие кажущиеся очевидными примеры подобного рода на самом деле таковыми не являются. Например, самоназвания северных самодийцев нен. *ńepēć?*, эн. *eńče?*, нган. *yanása* ‘человек’ обычно в качестве этнонима требуют определения ‘настоящий’ (ср. нен. *ńepáj* *ńepēć?*), этимологически эти слова сами означали, по-видимому, ‘настоящий, подлинный (человек)’ [Хайду 1985: 125]. На практике в качестве этнонимов самодийцами чаще используются родовые наименования или слова типа нган. *ńa* ‘друг, товарищ’. Аналогичная ситуация, например, у чукчей, где чаще, чем *orawətɬət* ‘люди’, используется самоназвание *λəy̡orawətɬət* ‘настоящие люди’ (откуда не удержавшееся в употреблении рус. *луораветлан*), хотя насколько это обозначение можно считать эндоэтнонимом для всех чукчей — большой вопрос, поскольку кочевые чукчи-оленеводы предпочитали называть себя *čawčəwət* ‘оленевые’ (отсюда рус. *чукчи*), а оседлые охотники на морского зверя — *aŋqalɬət* ‘морские’.

Неудачная попытка введения в официальное употребление этнонима *луораветлан* в 1920–1930-е гг. [см.: Батыянова, Тураев 2010: 507] подталкивает нас к еще одному обстоятельству, которое способствовало распространению мнения об особой частотности модели «‘человек’ → этноним». Дело в том, что современная этнонимическая номенклатура народов Сибири является во многом результатом творчества этнографов и советских властей. При ее формировании старые этнонимы, которым приписывалось колониальное уничижительное значение (*чукчи, самоеды, тунгусы* и др.), заменялись новыми, «настоящими», каковые нередко придумывались исходя из принципа «как сами себя называют люди, которых в старой России звали *остяками, самоедами, гиляками* и пр.?». Если особого общего самоназвания у конструируемой группы не было или самими носителями языка использовалось «уничижительное» русское, новое могло быть просто придумано или произвольно выбрано из локальных самоназваний. Так, например, обстояло дело с названием *селькупы* (от сельк. (Таз, Елогуй) *söł'qip*, трактуемого как ‘земной, земляной человек’), которое в начале 1930-х гг. ввел в качестве общего официального названия всей совокупности групп, обозначавшихся до революции как *остяко-самоеды*, Г. Н. Прокофьев [1935: 3, 10–14; Гемуев и др. 2005: 305–306]. В случае отсутствия и таких возможностей бралась на вооружение идея использования в качестве самоназвания слова со значением ‘человек’ (иногда с определением «настоящий»), как в случае с чукчами-луораветланами,

иногда и без него, как в случае с самоедами-ненцами — см. выше). Таким образом модель «‘человек’ → этноним» получала новое рождение. Типична в этом смысле судьба названия кетов: кет. *ket* ‘человек’, откуда образовано в XX в. рус. *кеты* («не является исконным самоназванием народа» [Гемуев и др. 2005: 632]), представляет собой форму ед. ч. и в собирательном значении, как название множества людей употребляться в кетском языке не должно (мн. ч. от *ket* имеет супплетивную основу: *d'ej* ‘люди’, и правильнее, наверное, было бы называть кетов *денгами*). Сами кеты использовали до революции (пожилые носители языка — и сейчас) в качестве самоназвания слово *ostik*, заимствованное из рус. *остяк* (< тат.).

Для понимания того, что модель «‘человек’ → этноним» зачастую кажется универсальной только благодаря поверхностному взгляду, показателен пример крупнейшего народа и языка аборигенной Америки. Кечуа называют свой язык *runasimi* ‘язык людей’, что, казалось бы, свидетельствует в пользу универсалии «‘человек’ → этноним». Однако слово *runa* ‘человек’ не самоназвание: им является *qhichwa*, означающее ‘(житель) горных долин’. Использование такого самоназвания земледельцами-жителями плодородных долин горного Перу (Куско и др.) естественно, поскольку они отличали себя и территориально, и по образу жизни от живших выше аймара и от населения побережья. Термин же *runasimi* отражает, скорее всего, ассимиляционную политику инков в Тауантинсуйу, где кечуа использовался как основной и единственный язык всего населения, и именно в этом смысле (‘язык в с е х людей’/‘язык пр o - с т y x людей’) правильно понимать слово *runasimi*. То есть использование слова ‘человек, люди’ — относительно позднее, и оно имеет вторичное значение в данной этнонимической системе.

Пример кечуа демонстрирует две другие «этнонимические универсалии», относительно которых, может быть, не сложилось столь устоявшегося мнения, как о модели «‘человек’ → этноним», но для которых можно привести некоторое количество примеров из разных регионов и языков. Во-первых, это самоназвания по признаку понятного языка типа ‘г о в о р я щ и е (п о н я т н о)’, которые обнаруживаются в разных регионах у народов, находящихся на достаточно продвинутых стадиях политогенеза (славяне: **slověne* < **slovo*; албанцы: *shqiptarë* ‘албанец’ < алб. *shqip* ‘говорить’; баски: *euskaldun* ‘баск’, *euskera* ‘баскский язык’ < баск. **enauts-kara* ‘способ говорения’; астеки: *nāhua* ‘астек’, *nāhuatl* ‘астекский язык’ < астек. *nāhuati* ‘говорить понятно’; племенные объединения дакотов янктонов и янктонаи: *wičhiyena* ‘говорящие по-человечески’ и др.). Показательно, что по крайней мере у астеков и у славян данная этнонимическая модель привела и к появлению экзоэтнонима с противоположным значением: слав. **nětci* ‘немые’ — западные соседи

славян, германцы; астек. *popolōca* ‘бормочущие, говорящие непонятно’ — соседи астеков, говорящие на отомангских языках. Эта модель отражает, видимо, уже совсем другой культурно-языковой ландшафт, нежели перво-бытная «‘человек’ → этноним»: речь идет о народах, вовлеченных в сложные культурные и политические контакты с разноязычными и не всегда дружественными соседями на стадии достаточно далеко зашедшего политогенеза.

Среди финно-угорских народов подобный период интенсивных взаимодействий с иноязычными (иранскими, позднее — тюркскими) степными (пре)политарными образованиями в конце праугорской эпохи (первая половина — середина I тыс. до н. э.) имели предки угров, что, вероятно, отразилось в их общем этнониме **mańcz* > венг. *magy(ar)* ‘венгр’, манс. (сев.) *mańši* ‘манси’, хант. (вост.) *tańńt'* ‘один из народов-предков хантов в преданиях’. Традиционная финно-угроведческая этимология, выводящая ПУ **mańcz* из праар. **mánuš* ‘человек’ [UEW: 866–867], неприемлема [подробнее см.: Напольских 2024: 14–15] и представляет собой еще один пример поспешного и общего решения в духе «этнонимических универсалий». Гораздо более надежно и в фонетическом, и в семантическом плане связывать **mańcz* с хант. (вост.) *tańńt'* ‘рассказывать; сказка’, венг. *mese* ‘сказка’, *mond-* ‘говорить, сказать’ < ПУ **monz-* ‘говорить’ (материал см. в [EWU: 923–924, 969, 990–991]) и предполагать в древнем самоназвании угров **mańcz* значение ‘говорящий (понятно)’ (связь древнего угорского самоназвания с представлением о понятной речи отразилось вторично и в венг. *magyarázni* ‘объяснять’, букв. «омадьяривать»).

Вторая универсалия, отраженная в кечуанской этнонимии, — использование ландафто-географического маркера. Кечуа, жители относительно теплых плодородных горных долин, противопоставляли себя горцам-аймара и обитателям речных оазисов на морском побережье, языки которых нам неизвестны. Есть много примеров, когда приморские жители получали этническое имя по месту своего обитания (русские *поморы* и западнославянские *поморяне*; суахили: (*wa*)*swahili* < араб. *sawāhil* ‘побережье’; береговые чукчи: *aŋqalʔət* < чук. *aŋqan* ‘море’). Там, где нет моря, нередка «географическая» модель образования этнонимов от речных названий (см. примеры ниже у славян и у коми, по рекам называли свои локальные группы и ханты: *vah-ях* ‘ваховский народ’ < р. *Vax*, *ac-ях* ‘обской народ’ < р. *Ac* ‘Обь’ и т. д.). Для эндоэтнонима коми (*коми морт* ‘коми человек’, *коми войтыр* ‘коми народ’) существует старая версия, выводящая слово *komi* из ПУ **koje-tz* ‘мужчина, человек’ [UEW: 168], с сомнительной параллелью в удмуртском (*vijži-kutj* ‘родственники’, где *vijži* ‘корень’ — родичи по роду, по отцу, а *kutj*, по-видимому, — родичи по брачным связям, свойственники,

вполне вероятно — из рус. *кум*, а вовсе не ПУ ‘мужчина’) — и альтернативная, связывающая название коми с Камой (удм. *кат* ‘большая река’, *ted’i kat* ‘Кама’, где *ted’i* ‘белая’ ~ коми *kot-ti* ‘Верхнее Прикамье, район Чердыни’, *ti* ‘земля’). Фонетически обе версии равноправны, но вторая вписывается в модель номинации по рекам, характерную для коми традиции, а первая не имеет оснований за исключением общего положения об универсальной модели «‘человек’ → этноним». Еще один пример распространенной модели географической номинации в этнонимии — многочисленные «окраинные» народы: *украинцы*, *персы* ~ ав. *rəgrəsu-* ‘бок’, *анты* ~ осет. *aendæ* ‘край, конец’, саамы — фин. *lappi* ~ фин. *lappea* ‘сторона, край’ и др. (см. также ниже).

По-видимому, полностью отрицать существование «этнонимических универсалий» не стоит. Однако важнейший вывод, который можно сделать даже из приведенных небольших наблюдений, состоит в том, что проявление этих «универсалий» зависит от конкретных исторических обстоятельств и определяется социальным и культурным контекстом.

Второй принцип, позволяющий вписать этноним в систему, состоит в том, что этнонимы образуются по определенным словообразовательным и мотивационным моделям, свойственным **той или иной культурно-языковой традиции**. По-видимому, для каждой традиции можно говорить об этннической языковой модели, подобной топонимической. Такая модель часто строится на семантических предпочтениях: см., например, отмеченный факт распространенности отгидронимных образований в славянских племенных названиях (*бужсане*, *ободриты*, *полабы*, *поморяне* и др.) по сравнению с относительной редкостью их в германских этнонаимах — и частотность дескриптивных «прозвищ» в германской этнонимии (типа *лангобарды* ‘длиннобородые’, *хатты* ‘шапки’, *квады* ‘злые’, *херуски* ‘оленя’ и др.) в противоположность относительной редкости подобных названий у славян [Трубачев 1974: 56–57]. Иногда в одной и той же традиции применяется один семантический принцип для образования одного класса этнонимов и другой — для другого. Так, например, у дакотов большие территориально-диалектные группы называются, как правило, по ландшафтно-географическому принципу, т. е. ближе к «славянскому типу» по О. Н. Трубачеву (тетоны: *thíthuŋwaŋ* < дак. *thítā* ‘равнина, прерия’ + *thíŋwaŋ* ‘(на)селение’; мдевакантоны: *bdewákhaŋthuŋwaŋ* < дак. *bde-wákhaŋ* ‘священное озеро’; янктоны: *iháŋkthuŋwaŋ* < дак. *iháŋka* ‘конец’ — янктоны расселялись в низовьях р. Миссури, на южных окраинах дакотаязычного ареала, см. выше об «окраинных» народах). Более мелкие подразделения чаще носят дескриптивные «прозвищные» названия — по «германской» модели (племена тетонских «Семи костров совета»: *sihásapa* ‘черные ноги’, *oóheneŋra* ‘два котла’, *oglála* ‘разбросанные / разбрасывающиеся’,

sicáŋgi ‘обожженные бедра’ и др.). Параллель со славянами и германцами здесь может быть неслучайна, а объясняется социально-экономическими причинами. Крупные объединения дакотов (тетоны, мдевакантоны, вахпетоны, янктоны и др.) возникли, вероятно, довольно рано (и поэтому различаются не только по племенной принадлежности, но и по диалектам) — еще до появления лошади, до сложения культуры кочевых охотников на бизонов в прериях — и относились к более оседлым сообществам. А малые дакотские объединения, особенно в прериях, сформировались уже в условиях весьма подвижного образа жизни. Германские этнонимы фиксируются с самого начала в условиях высокой мобильности германских племен с момента их появления на границах Римской империи и в период Великого переселения народов, а славянские названия, по крайней мере самые ранние, отражают культуру сообществ, которые лишь позднее были втянуты в процессы переселений.

Словообразовательная (морфологическая) модель также работает по-разному. Иногда в языке имеется специальный «этнонимический» формант, как, например, коми *-(va)tas* (< *va* ‘вода’) в названиях территориальных групп коми по рекам, на которых они обитают: *эжватас* ‘вычегодцы’ < р. *Эжва* ‘Вычегда’, *емватас* ‘вымцы’ < р. *Емва* ‘Вымь’, *изыватас* ‘ижемцы’ < р. *Изъва* ‘Ижма’. Чаще (по крайней мере если говорить о языках Северной Евразии), однако, мы имеем дело с суффиксами, которые обладают более широкой семантикой, но используются также для образования этнонимов (как, например, финский суффикс прилагательных с локативным значением *-(la)inen* в *venäläinen* ‘русский’ ~ *Venäjä* ‘Россия’, *suomalainen* ‘финн’ ~ *Suomi* ‘Финляндия’, но ср. также *kaupunkilainen* ‘городской’ ~ *kaupunki* ‘город’, примерно то же в рус. *англичане, датчане и горожане, поречане*). Часто (особенно в языках с менее развитой морфологией) этнонимы образуются просто как композиты со словами ‘народ’ или ‘человек / люди’ (как кит. 族 *zú* ‘народ, национальность’ и 人 *rén* ‘человек’ в 苗族 *miáozú* ‘(народ) мяо’ или 苗(族)人 *miáo(zú)rén* ‘мяо (человек)’; *man* в англ. *Englishman, Dutchman*).

Иногда различие этнонимических типов помогает выделить группы этнонимов, характеризующие культурные, языковые или политические взаимоотношения носителей данной ономастической традиции с соседями. Примером такого рода является противопоставление в древнерусском языке славянских племенных названий в формах мн. ч. на *-ichi* и *-jane* (вятичи, кривичи, уличи, северяне, древляне, поляне и др.), с одной стороны, и собирательных названий на *-a* и *-b* для преимущественно неславянских (исключения — морава и сербы) народов, живших в лесной зоне на периферии восточных славян и не имевших самостоятельных государственных объединений (литва, корела, мордва, югра, чудь, весь, либь, самоядь) [Хабургаев 1979: 168]. Однако это, видимо,

довольно редкий случай, обычно морфологический тип в этнонимии только позволяет прийти к правильному выделению основы или идентифицировать тот или иной неясный этноним как происходящий, возможно, из определенного языка. Установление и учет этнонимических моделей является необходимым условием этимологизации этнонимов, но здесь, как видим, опять-таки важно принимать во внимание культурно-языковой контекст и исторические обстоятельства существования традиции.

Таким образом, и этнонимические «универсалии», и этнонимические модели отдельных культур проявляют себя неодинаково в разных исторических обстоятельствах. Этот важнейший вывод приводит к возможности обоснования третьего принципа системности в этнонимии. Возникновение новых этнонимов, как правило, связано с определенными узловыми моментами этнической истории², когда вследствие стечения социально-экономических, политических, культурных, религиозных процессов, связанных с активизацией разнообразных контактов, происходит консолидация культурно-языковых групп, которые вырабатывают мифологические³ представления об общей истории, культуре, внешних признаках, так или иначе оформляют общий язык и в конечном счете выражают идею этой общности в самоназвании. Параллельно происходит осознание наличия «других», и складывается система экзоэтнонимов, а также осмысляется внутренняя структура сообщества и формируется система микроэтнонимов. Естественно, все эти процессы растянуты во времени, и этническая история знает как скачки, так и периоды относительно медленного развития. Тем не менее этнонимия всегда складывается в определенных конкретно-исторических обстоятельствах.

Именно **этноисторическая ситуация**, в ходе и вследствие которой происходит сложение той или иной этнонимической традиции, является фактором, определяющим характер действия «этнонимических универсалий» и особенности специфических для данной традиции этнонимических моделей, и обеспечивает, таким образом, системность этнонимии. Такая этноисторическая системность отражает этноязыковые связи и взаимодействия, в процессе которых складывалась этнонимия той или иной территории в определенный

² Под *этнической историей* я понимаю непрерывный процесс возникновения, взаимодействия и угасания социальных групп, мифологически (см. ниже) или (в государственных образованиях) идеологически осмысляющих свою идентичность в самом общем плане как культурную традицию, что отражается в информационной сети, функционирующей на определенном языке, который такая группа считает своим.

³ Под *мифологическими* я понимаю коллективные представления, источником и формой существования которых является принятное в данной социальной группе общее знание, в истинности которого не сомневаются.

период. Исследование этнонимии поэтому должно всякий раз принимать во внимание предполагаемую (реконструируемую) или известную по письменным источникам этноисторическую ситуацию, подтверждая и уточняя (или даже существенно дополняя и модифицируя) представления о ней этнографическим материалом, который является наследием этой ситуации.

Может показаться, что мы здесь возвращаемся к высказанной в начале статьи безрадостной констатации несамостоятельности этнографии, зависимости качества этнографических этимологий от знания исторических обстоятельств возникновения этнографии. Однако на самом деле это не так: я полагаю, что учет этноисторической ситуации не просто подтверждает или опровергает ту или иную этнографическую этимологию, а позволяет увидеть систему этнографии, которая согласуется с «этнографическими универсалиями» и с этнографическими традициями всех вовлеченных в данный этноисторический узел групп. С другой стороны, получив требуемую системность, этнографии становятся самостоятельным источником, который, в свою очередь, позволяет корректировать, подтверждать или опровергать этноисторические гипотезы. Поясню на примерах.

Самоназвание саамов **sāme* и самоназвание финнов-хяме *häme*⁴ восходят к общей прибалтийско-финско-саамской праформе **šāme*, закономерно отражающей балт. **žeme* ‘земля’ [SSA 1: 207]. В восточнобалтских языках эта основа используется в обозначениях низменной равнины, прибрежных западных областей Литвы и Латвии — Жемайтии (лит. *Žemaitėjė*) и Земгалии (лтш. *Zemgale*), откуда образованы и соответствующие этнографии (жемайты — *žemaitē* и земгалы — *zemgalī*). Прибалтийско-финско-саамское **šāme* отражает период начального появления носителей финно-угорской речи в Прибалтике, когда побережье Финского залива, включая юг современной Финляндии, населяли носители балтских языков — потомки создателей прибалтийской культуры шнуровой керамики и боевых топоров. Как показывает анализ заимствованной лексики из балтского языка литовского типа (термины, относящие к морю и мореходству, названия рыб и др.), балты предшествовали финно-уграм на берегах Балтики. Балтская этнографическая модель «прибрежные жители, поморяне» (см. выше об «этнографических универсалиях») отразилась в заимствованных этнографиях саамов и финнов-хяме, которые восходят к древнему (прото)балтскому субстрату на прибрежных территориях от Литвы до Финляндии.

⁴ Точнее, как и в большинстве финских случаев ниже, речь здесь идет об этнотопониме: слово *Häme* (др.-рус. *Емь*) является обозначением территории, а название ее жителей образуется от этой основы с помощью указанного выше суффикса: *hämäläiset* (мн. ч.).

Финны-хяме были, вероятно, одной из первых прибалтийско-финских группировок, продвинувшихся во внутренние районы Финляндии, где они постепенно в течение последних полутора тысяч лет ассимилировали и вытесняли древнее саамское население. Собственно, название этой страны — сканд. *Finnland* — означает буквально ‘Страна саамов’, поскольку *finne* — старое германское название саамов по их подвижному охотничьерыболовческому образу жизни (от герм. **fennō-* < **fenþan* ‘искать’) — зафиксировано впервые у Тацита в I в. н. э. и сохраняется и сегодня в норвежском языке. Возможно, название **šäme* > *häme* было заимствовано (как топоним) предками финнов-хяме из саамских диалектов Финляндии. С процессами переселения прибалтийских финнов примерно с рубежа эр с их прародины на южном берегу Финского залива на территории современных Финляндии и Карелии, в ходе которого формировалась северная группа прибалтийско-финских языков, связаны второй и третий примеры.

Побережье Балтийского моря (в том числе Финского залива) было еще в конце бронзового века освоено предками германцев, создателей культуры скандинавских бронз. И прибалтийско-финские, и саамские языки как минимум с начала железного века, когда предки их носителей вышли к Балтике, подверглись сильному влиянию германских языков, о чем свидетельствует огромное количество германских заимствований. Переселение прибалтийских финнов через Финский залив происходило, скорее всего, в буквальном симбиозе с германцами, для которых мореплавание было старым и исконным занятием. Это отразилось в двух этнонаимах. Первый из них — фин. *Suomi* ‘Финляндия’ — первоначально название юго-западного побережья Финляндии (совр. *Varsinais Suomi* ‘Настоящая Финляндия’) и племенной группировки, его населявшей (др.-рус. *Сумь*), ставшее в дальнейшем самоназванием всех финнов (совр. фин. *suomalaiset*) < приб.-фин. **sōme* < герм. **sōme* ‘толпа, сорище’. Продвинувшаяся дальше на восток, на Карельский перешеек, группа получила другое заимствованное из германского имя, почти с той же семантикой: карел. *Karjala* < *karja* ‘стадо; группа’ < герм. **χarja-* ‘отряд, войско’ (др.-рус. *Коръла*, совр. карел. *karjalaizet*), — или же приб.-фин. **karja* ‘стадо; группа’ здесь является просто калькой герм. **sōme* ‘толпа, сорище’⁵.

⁵ Здесь излагается старая версия В. Ниссиля [Nissilä 1959], которая встречает гораздо меньше возражений, чем новейшие попытки финских авторов вывести **sōme* из **šämtä* (см. выше о саамах и хяме) путем выстраивания различных сложных цепочек заимствований из балтского в прибалтийско-финский, оттуда обратно в балтский, в германский, обратно в финский и т. п. [см.: Grünthal 1997: 60–72], представляющих собой образцы изысканной этимологической эквилибристики, вряд ли могущей иметь основания в реальности.

Продвинувшаяся еще дальше на восток, до Онежского озера, прибалтийско-финская группа — предки вепсов — оказалась (как и предки финнов-хяме в Центральной Финляндии, см. выше) в более тесных контактах с саамами, от которых было заимствовано ее самоназвание **vepsä* < саам. **vēpsē* ‘рыбий плавник’: так, видимо, называли себя древние саамы Прионежья. Эти саамы ошибочно калькировали уже упомянутое выше старое германское название саамов **fennō-* > *finne*, которое в германских языках омонимично слову **fenne* ‘рыбий плавник’ [Напольских 2007].

Дальнейшее движение прибалтийских финнов на восток, вплоть до низовьев Северной Двины, отражено в топонимах и этнонаимах со значением ‘окраина, отдаленная земля’ (см. об «этнонимических универсалиях» выше), заимствованных уже из этих языков в русский: *Пермь*, сюда же — *Биармия*, *Bjärmaland* скандинавских саг (< приб.-фин. **perä maa* ‘задняя земля’) и *зыряне* < приб.-фин. **sūrjä* ‘край’. В этот же этнонимический системный ряд, отражающий взаимодействия и миграции германцев, прибалтийских финнов и славян на севере Восточной Европы в раннем Средневековье, входит и этноним *Русь*, заимствованный славянами как название этнотERRиториальной группы скандинавов (варягов) из приб.-фин. **rōtsi* (> совр. фин. *Ruotsi* ‘Швеция’, *ruotsalaiset* ‘шведы’) < др.-шв. **rōfs-mannar* ‘гребцы’. Это же приб.-фин. **rōtsi* было непосредственно заимствовано в пермский прайзик в форме **roć* и стало у пермян обозначением русских (коми *roć*, удм. *žić*).

Как видим, почти все этнонимы северо-запада Восточной Европы образуют на самом деле весьма стройную систему, согласующуюся с реконструкцией этноисторических процессов в регионе от начала железного века до начала II тыс. н. э. При этом этноисторическая реконструкция помогает понять истоки этнонимов, а этимология этнонимов уточняет и корректирует этноисторические гипотезы.

Историческую стройность этнонимической системы Фенноскандии прекрасно иллюстрирует еще один пример, на этот раз из художественной литературы. В «Снежной королеве» Г. Х. Андерсена Герда в поисках Кая путешествует из Дании на север Скандинавии и там встречает сначала старуху-лапландку, которая помогает ей добраться до живущей на самом крайнем севере финки. От нее Герда уже попадает в чертоги Снежной королевы. Если исходить из современного значения русских (или английских, например) этнонимов *лапландцы*, *лопари*, *Lapps* ‘саамы’ и *финны*, *Finns* ‘финны-суоми’, то путь Герды выглядит странно: саамы на современной карте живут явно севернее финнов. Однако Андерсен ничуть не ошибался, просто он был носителем скандинавской традиции и писал в соответствии с ней. В своем движении на север Фенноскандии, связанном с практикой подсечно-огневого

земледелия, прибалтийские финны, как уже было сказано, ассимилировали саамское население Страны саамов, Финляндии. Саамы сохранялись на севере, в отдаленных и малопригодных для земледелия областях, и здесь, как и на восточной границе прибалтийско-финской экспансии, сработала «универсалия» именования народа по принципу окраины: саамскую окраину финны стали называть *Lappi* (>др.-рус. *Лопь*) <фин. *lappia* ‘край, отдаленное место’, и это финское название легло в основу шведского позднего топонима *Lappia* (уже у Саксона Грамматика в конце XII в.) и этнонаима шв. *lappar* (мн. ч.) ‘саамы’ (>рус. *лопари*)⁶. Северные районы Швеции, поздно освоенные шведами, где сохранялось саамское население, получили название *Lapland*. В норвежском же языке, как уже было сказано выше, сохраняется старое германское наименование саамов *finne*, а словом *Finnmark* называется населенная саамами самая северная часть Норвегии и Скандинавского полуострова в целом. Таким образом, *лапландка* Андерсена — это шведская саамка, а *финка* — саамка норвежская, и путь Герды идет строго с юга на север.

В приведенном материале обращает на себя внимание еще одно обстоятельство, согласующееся с положениями начала статьи о кажущейся бессистемности этнонимии и возможности самых разнообразных этимологических версий для этнонимов: практически все рассмотренные этнонимы имеют несколько порою почти равновероятных этимологических объяснений. В силу небольшого объема статьи я не имею возможности подробно рассматривать все альтернативные версии, а ограничиваюсь короткими примечаниями. Приведенные выше этимологии, как правило, являются самыми простыми, не требующими многочисленных домыслов и допущений. При этом они корректны в лингвистическом плане, отражают «этнонимические универсалии», соответствуют моделям этнонимических традиций и, самое главное,

⁶ Есть и противоположная версия: шв. *lappar* от *lapp* ‘тряпка, клин в одежде’, которое калькирует старое самоназвание одной локальной саамской группы на северном берегу Ботнического залива, в коммуне Торнио (упоминается один раз у Х. Ганандера в XVIII в.), *wiowjoš* <саам. *wiow'je* ‘клиновидный’ [SSA 2: 48], а фин. *Lappi* — из шведского, с народноэтимологическим сближением с фин. *lappia* ‘отдаленное место’ [Itkonen 1961: 106–111]. Исходя из наличия топонимов на *lappe-* уже на крайнем юге Финляндии и активного использования основы *lappi-* в карельской этнонимии для обозначения как саамов, так и северных карелов, следует полагать, что это финское название страны и народа саамов, *Lappi*, очень старое, вряд ли его можно объяснить заимствованием из шведского калькированного самоназвания периферийной саамской группы. Едва ли здесь могут помочь спекуляции на тему семантического сходства саам. *wiowjoš* < *wiow'je* ‘клиновидный’ и самоназвания воды *vadja* < **vadja* ‘клиновидный’ < балт. [см.: Grünthal 1997: 128–135]: даже если, как допускал Э. Итконен [см. выше: Itkonen 1961: 106–111], какая-то группа саамов принесла этот этноним с южного берега Финского залива (где присутствие саамов вообще-то ничем не документировано), это не доказывает происхождения финского этнотопонима из шведской якобы кальки. Скорее уж гапакс *wiowjoš* у Ганандера следует рассматривать как ошибочную кальку шв. *lappar* ‘саамы’ в связи со шв. *lapp* ‘тряпка, клин’.

системно вписываются в историко-культурный контекст. Покажу, как учет этих «показателей системности» может помочь выбрать надежное решение среди других еще на одном примере.

Для самоназвания удмуртов, *udmurt* (варианты *udmort*, *u'mort*, *urtmurt* и др. являются результатом развития формы *udmurt* [ДАУЯ 1: 49–53, 194]), точнее для *ud-* в этом слове (поскольку вторая часть композита понятна — удм. *murt* ‘человек’, которое заимствовано из средневосточноранского источника [см.: Напольских, Сурикова 2024: 26]), существует четыре этимологические версии.

1. *Ud-* в *udmurt* — удмуртское название р. Вятка, и весь композит означает ‘вятский человек’. В таком виде эта идея впервые высказана Бернатом Мункачи [VNySz: III]. Однако, поскольку сам Мункачи удмуртского названия Вятки не приводит, а удмурты называют Вятку отнюдь не *ud*, а *vatka kam* ‘вятская (большая) река’ (ср. выше *təd'i kam* ‘белая (большая) река, Кама’), эта версия была модифицирована (без ссылок на Б. Мункачи): «...другие исследователи полагают, что этноним “удмурт” можно прямо связать с названием р. Вятки (по-удмуртски *Vatka*); *ватмурт* означает “человек с реки Вятки”; в дальнейшем он изменился в *отмурт*, *утмурт*, *удмурт*» [Мокшин и др. 2000: 428]⁷.

2. Первый элемент композита идентичен удм. *ud* ‘росток, побег, всходы, рассада’, но исконное значение этнонима не ‘росток-человек’, а ‘луговой человек’ (поскольку весной луга покрываются молодыми побегами травы): так удмурты якобы называли себя — аналогично *луговым марицам* (мар. *olək mari*), потому что районы их расселения изобилуют лугами. В такой форме эта версия была высказана К. Редеи (Радановичем) [Radanovics 1963], и автор остался верен ей до конца [UEW: 607]. Оригинальная мотивация этимологии (богатство удмуртских и мариийских земель лугами), естественно, выглядела странно, и ее попытался исправить А. Г. Иванов, показавший, что термин *луговые люди* действительно применялся в русских документах XVI в. по отношению не только к мариийцам, но и к удмуртам. *Луговой стороной* русские называли восточный, низкий берег текущих в меридиональном направлении рек (Волги в случае с мариийцами и Вятки — с удмуртами) — в противоположность западному, высокому берегу — *горной стороне* (ср. *горные марицы*) [Иванов 1991].

3. Мы с С. К. Белых, подробно разобрав недостатки двух первых этимологий, предложили свою: *udmurt* < ППерм. **odo-mort* (ср. мар. *odo-mari* ‘удмурт’, рус. *(в)от(як)* < **odo*) < доперм. **anta-marta* (переходы **a* > **o* > *u*;

⁷ Авторство этой модификации, по-видимому, принадлежит Ф. И. Гордееву (скорее всего, впрочем, он пришел к данной идеи независимо) [Гордеев 1965], но выкристаллизовалась она под могучим пером В. Е. Владыкина, поздний (но практически не отличающийся от более ранних вариантов) текст которого я здесь и привожу. Эта версия, несмотря на ее очевидную неприемлемость (см. ниже), продолжает кочевать по сочинениям финно-угорских ученых, учебникам, сайтам и т. п.

*-nt- > -d-; *-Ca > -C в прaperмском и удмуртском абсолютно закономерны) < вост.-иран. *anta-marta, где *marta ‘человек’ (ср. янгоб. *morti*, бактр. *maρbo* и др.), *anta ‘край, конец, граница’ (ср. осет. *ændæ*, *æddæ*). Таким образом, *anta-marta означало первоначально ‘житель пограничья, окраины’ — термин, которым жившие в степи иранцы называли своих северных лесных соседей — южных пермян, предков удмуртов [Белых, Напольских 1994].

4. Сочинителю удмуртского эпоса М. Г. Атаманову не понравились все вышеупомянутые этимологии, и он, воспользовавшись возможностями, предоставляемыми оказавшимся в его распоряжении словарем В. И. Абаева, выдвинул свою: название *udmurt* целиком заимствовано из иранских языков, а первая часть композита идентична осет. *ud* ‘душа, дух; жизнь’ [Атаманов 2007].

Если вкратце рассмотреть эти варианты с точки зрения изложенных выше принципов систематизации этнонимии (первые два подробно разобраны в [Белых, Напольских 1994], приводимые ниже аргументы обоснованы в указанной статье, а четвертая в подробном разборе не нуждается), то окажется, что первая этимология неплохо соответствует и «этнонимическим универсалиям», и если не удмуртской, то пермской этнонимической модели (см. выше о речных названиях у коми и об этимологии ‘камский человек’ для *komi mort*), и имеющимся представлениям о ранней истории удмуртов (бассейн Вятки, скорее ее нижнее течение, действительно был районом, где формировалась удмуртская общность). Но, к сожалению, она не удовлетворяет требованиям этимологической корректности: развитие *vat- > *ud*- в удмуртском языке никак не могло произойти, Вятка называется по-удмуртски не *Ud* или *Vat*, а *Vatka* (*kam*), и слово это заимствовано из рус. *Вятка* (палатального *v*, тем более в анлауте, в удмуртской фонетике нет). Таким образом, эта версия не может быть принята с лингвистической точки зрения, что, собственно говоря, было ясно еще сто лет назад [Zsirai 1937: 225].

Вторая версия с точки зрения фонетики возражений не вызывает, но предлагаемый семантический переход ‘росток, побег’ → ‘луг’ не подтверждается ни данными удмуртского языка, ни параллелями в других финно-угорских, ни в арийских языках, откуда это слово заимствовано. Поэтому с точки зрения семантики предположение К. Редеи — чистый домысел. Если с этим домыслом согласиться, то исторически, в особенности в интерпретации А. Г. Иванова, гипотеза кажется хорошо вписывающейся в этнонимическую модель (*горные* vs. *луговые* берега рек и их жители). Беда только в том, что эта модель — русская, фиксируемая в источниках со временем противостояния Москвы и Казани в Среднем Поволжье, заимствованная марийцами, но совершенно неизвестная удмуртам: в удмуртской традиции выделение групп населения по рекам производится либо по течению (*улланьёс*, *уллапалан уйсьес* ‘нижние’ / *вылланьёс*

‘верхние’), либо с точки зрения «нашего берега» (*тапальёс* ‘(жители) этой стороны’ / *тупальёс* ‘(жители) той стороны’), а понятия ‘горный’ (*гурезъ*) и ‘луговой’ (*возвыл*) в удмуртской географической терминологии для обозначения берегов рек не используются. Калькой с рус. *луговые люди* само-название удмуртов быть не может, поскольку мар. *одо* (< перм. **od-mort*) отражено в топонимии юга Кировской области и западных районов Марий Эл (оиконимы типа *Одо-илем* ‘Удмуртское жилье’) [Смирнов 2013: 10–11, 19–21], что указывает на существование этого этнонима во время ранних контактов марийцев с предками удмуртов на Нижней Вятке. Они имели место в XII–XIII вв. (задолго до того, как русская географическая традиция могла быть в этом регионе известна) и сосредоточены как раз не на «луговом», а на «горном» берегу Вятки (с точки зрения русской номенклатуры). Таким образом, вторая версия вызывает лингвистические возражения (семантика) и никак не вписывается в исторический контекст.

Версия М. Г. Атаманова (четвертая) принципиальных лингвистических возражений не вызывает (сохранение аланского *и-* в удмуртском возможно, хотя и необязательно), но представляет собой типичную этимологию *ad hoc*, количество которых зависит только от наличия в библиотеке сочинителя словарей и умения ими пользоваться. Она не находит параллелей ни в общих «этнографических универсалиях», ни в осетинской или удмуртской традиции: экзоэтноним (если предполагается иранское происхождение, то первоначально это должно было быть внешнее, иранское название предков удмуртов) со значением ‘душа-человек’ вряд ли встречается где-то за пределами фантазии данного автора, мотивация такого именования остается непонятной, этоним практически повисает в воздухе.

Предложенная нами версия от вост.-иран. **anta-marta* фонетически безупречна и предполагает сарматские диалекты первой половины I тыс. н. э. как конкретный источник, отражает одну из «этнографических универсалий», известную в том числе иранцам и финно-уграм («окраинные народы»), вписана в исторический контекст (граница лесных пермян и степняков-иранцев, тесно контактировавших друг с другом, со следами мощного влияния иранской речи на пермскую). Кроме того, имеется параллель, показывающая неединичность такого этнонима для ситуации контакта иранцев и их северных лесных соседей в первой половине I тыс. н. э. — название племенного союза *антов* в Поднепровье, зафиксированное источниками VI–VII вв. (информация, как, например, у Иордана, восходит, возможно, к IV в.). Независимо от того, на каком языке говорили анты (скорее всего, не на одном), единственная приемлемая этимология для этого имени — возведение его к тому же иран. **anta* (осет. *ændæ*, *æddæ*) ‘конец, край, граница’. Данное обстоятельство свидетельствует в пользу

того, что у иранских племен сармато-аланского круга восточноевропейских степей в первой половине I тыс. н. э. реально существовала модель именования своих северных соседей, живущих на краю степного мира, «людьми окраины». Они применяли эту модель в отношении жителей Поднепровья и Прикамья.

* * *

Приведенные примеры показывают, что историческое изучение этнонимии может рассматриваться как методологически самостоятельная область историко-филологических исследований, в которой анализ материала обладает необходимой для верификации выводов системностью, при соблюдении четырех условий:

- 1) лингвистическая корректность этимологии, с особым вниманием к деталям как фонетического, так и семантического рода и с доведением этимона до возможно более точного определения конкретного языка-источника;
- 2) учет «этнонимических универсалий», подтверждение решений типологическими аналогиями;
- 3) учет особенностей конкретной этнонимической традиции, присущих ей моделей номинации;
- 4) учет того обстоятельства, что проявления как «этнонимических универсалий», так и этнонимических традиций зависят от конкретной этноисторической ситуации, которая реконструируется для времени и места предполагаемого сложения этнонима.

Этнонимика, таким образом, оказывается, вероятно, самой исторической из филологических дисциплин, наиболее тесным образом методологически связанной с этнической историей.

Сокращения

В названиях языков и диалектов

ав.	авестийский язык	манс. (сев.)	северное наречие мансиjsкого языка
амур.	амурский диалект нивхского языка	нган.	нганасанский язык
астек.	астексткий язык (науатль)	нен.	ненецкий язык
бактр.	бактрийский язык	нов.-перс.	персидский язык
баск.	баскский язык	perm.	permские языки
вост.-иран.	восточноиранские языки	ППерм.	permский праязык
дак.	язык dakota	праар.	арийский (индоиранский) праязыки
доперм.	допермская праформа	приб.-фин.	прибалтийско-финский праязык
др.-шв.	древнешведский язык	ПУ	уральский праязык
кет.	кетский язык	саам.	саамский язык

сельк.	селькупский язык	чук.	чукотский язык
хант. (вост.)	восточное наречие хантыйского языка	эн.	энечкий язык

ягноб.

ягнобский язык

Источники

ДАУЯ — Насибуллин Р. Ш. и др. Диалектологический атлас удмуртского языка. Ижевск : Регулярная и хаотическая динамика, 2009–. Вып. 1–.

Исследования

Атаманов М. Г. Еще раз о происхождении этнонима *удмурт* // *Linguistica Uralica*. 2007. Vol. 43, Iss. 2. P. 90–97.

Батьянова, Тураев 2010 — Народы Северо-Востока Сибири / отв. ред. Е. П. Батьянова, В. А. Тураев. М. : Наука, 2010.

Белых С. К., Напольских В. В. Этноним *удмурт*: исчерпаны ли альтернативы? // *Linguistica Uralica*. 1994. Vol. 30, Iss. 4. P. 278–288.

Гемуев и др. 2005 — Народы Западной Сибири: Ханты. Манси. Селькупы. Ненцы. Энцы. Нганасаны. Кеты / отв. ред. И. Н. Гемуев, В. И. Молодин, З. П. Соколова. М. : Наука, 2005.

Гордеев Ф. И. Ирано-тюркские заимствования в марийском языке // Тезисы научной сессии по этногенезу марийского народа. Йошкар-Ола : МарНИИ, 1965. С. 25–29.

Иванов А. Г. Удмурты — «луговые люди» (к этимологии этнонима) // *Linguistica Uralica*. 1991. Vol. 27, Iss. 3. P. 188–192.

Мокшин и др. 2000 — Народы Поволжья и Приуралья: Коми-зыряне. Коми-пермяки. Марийцы. Мордва. Удмурты / отв. ред. Н. Ф. Мокшин и др. М. : Наука, 2000.

Напольских В. В. Происхождение самоназвания вепсов в контексте этнической истории Восточной Прибалтики // Вопросы ономастики. 2007. № 4. С. 28–33.

Напольских В. В. К иранской этимологии этнонимов *мари*, *меря*, *мурома* // Вопросы ономастики. 2024. Т. 21, № 1. С. 9–26. https://doi.org/10.15826/vopr_onom.2024.21.1.001

Напольских В. В., Савельев А. В. *Мари, меря, мурома* — история этнонимов и реконструкция языков субстратной топонимии // Вопросы ономастики. 2023. Т. 22, № 3. С. 9–30. https://doi.org/10.15826/vopr_onom.2023.20.3.029

Напольских В. В., Сурикова О. Д. Еще раз об этимологии этнонима *мордва* // Вопросы ономастики. 2024. Т. 21, № 3. С. 9–40. https://doi.org/10.15826/vopr_onom.2024.21.3.029

Попов А. И. Названия народов СССР. Введение в этнографию. Л. : Наука, 1973.

Прокофьев Г. Н. Селькупская грамматика // Научно-исследовательская ассоциация Института народов Севера. Труды по лингвистике. Т. 4 : Селькупский (остяко-самоедский) язык. Л. : Ин-т народов Севера, 1935.

РЭС — Аникин А. Е. Русский этимологический словарь. М. : Рукописные памятники Древней Руси, 2007–. Т. 1–.

Смирнов О. В. К вопросу о пермском топонимическом субстрате на территории Марий Эл и в бассейне среднего течения реки Вятки (в свете этнической интерпретации археологических культур). 1 // Вопросы ономастики. 2013. № 2 (15). С. 7–58.

Трубачев О. Н. Ранние славянские этнонимы — свидетели миграции славян // Вопросы языкоznания. 1974. № 6. С. 48–67.

Хабургаев Г. А. Этнонимия «Повести временных лет». М. : Изд-во Моск. ун-та, 1979.

- Xaïduj* П. Уральские языки и народы / пер. с венг. Е. А. Хелимского. М. : Прогресс, 1985.
- EWU — Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen / Hrsg. L. Benkő. Budapest : Akadémiai kiadó, 1992–1993.
- Grünthal* R. Livvistä liiviin. Itämerensuomalaiset etnonymmit. Helsinki : Hakapaina Oy, 1997.
- Itkonen* E. Suomalais-ugrilaisen kielen- ja historiantutkimuksen alalta. Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1961.
- Nissilä* V. Suomi-nimen ongelma // Virittäjä. 1959. No. 63. S. 292–305.
- Radanovics* K. Über die Ursprung einiger finnisch-ugrischer Völkernamen // Congressus Internationalis Fennno-Ugristarum I / Hrsg. G. Ortutay. Budapest : Akadémiai kiadó, 1963. S. 98–104.
- SSA — Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. O. 1–3 / päätoim. E. Itkonen, U.-M. Kulonen. Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001.
- UEW — Uralisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1–3 / Hrsg. von K. Rédei. Budapest : Akadémiai kiadó, 1986–1991.
- VNySz — *Munkácsi* B. A votyák nyelv szótára. Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1896.
- Zsirai* M. Finnugor rokonságunk. Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1937.

References

- Anikin, A. E. (2007–). *Russkii etimologicheskii slovar'* [Russian Etymological Dictionary] (Vols. 1–). Moscow: Rukopisnye pamiatniki Drevnei Rusi.
- Atamanov, M. G. (2007). Eshche raz o proiskhozhdennii etnonima *udmurt* [Once Again on the Origin of the Ethnonym *Udmurt*]. *Linguistica Uralica*, 43(2), 90–97.
- Batyanova, E. P., & Turaev, V. A. (Eds.). (2010). *Narody Severo-Vostoka Sibiri* [Peoples of the North-East of Siberia]. Moscow: Nauka.
- Belykh, S. K., & Napol'skikh, V. V. (1994). Etnonim *udmurt*: ischerpani li al'ternativy? [The Ethnonym Udmurt: Have All Alternatives Been Exhausted?]. *Linguistica Uralica*, 30(4), 278–288.
- Benkő, L. (Ed.). (1992–1993). *Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen*. Budapest: Akadémiai kiadó.
- Gemuev, I. N., Molodin, V. I., & Sokolova, Z. P. (Eds.). (2005). *Narody Zapadnoi Sibiri: Khanty. Mansi. Selkupy. Nentsy. Entsye. Nganasany. Kety* [Peoples of Western Siberia: Khanty. Mansi. Selkups. Nenets. Enets. Nganasans. Kets]. Moscow: Nauka.
- Gordeev, F. I. (1965). Irano-tiurkskie zaimstvovaniia v mariiskom iazyke [Iranian-Turkic Loanwords in the Mari Language]. In *Tezisy nauchnoi sessii po etnogeneze mariiskogo naroda* [Abstracts of the Scientific Session on the Ethnogenesis of the Mari People] (pp. 25–29). Yoshkar-Ola: MarNII.
- Grünthal, R. (1997). *Livvistä liiviin. Itämerensuomalaiset etnonymmit*. Helsinki: Hakapaina Oy.
- Haidú, P. (1985). *Ural'skie iazyki i narody* [Uralic Languages and Peoples]. Moscow: Progress.
- Itkonen, E. (1961). *Suomalais-ugrilaisen kielen ja historiantutkimuksen alalta*. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.
- Itkonen, E., & Kulonen, U.-M. (Eds.). (2001). *Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja* (Vols. 1–3). Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.
- Ivanov, A. G. (1991). Udmurty — “lugovye liudi” (k etimologii etnonima) [Udmurts — “Meadow People” (On the Etymology of the Ethnonym)]. *Linguistica Uralica*, 27(3), 188–192.
- Khaburgaev, G. A. (1979). *Etnonimiia “Povesti vremennykh let”* [Ethnonymy in the “Tale of Bygone Years”]. Moscow: Moscow University Press.
- Mokshin, N. F. et al. (Eds.). (2000). *Narody Povolzh'ia i Priural'ia: Komi-zyr'ane. Komi-perm'aki. Mariitsy. Mordva. Urdmury* [Peoples of the Volga and Pre-Ural Regions: Komi-Zyrians. Komi-Permyaks. Mari. Mordvins. Udmurts]. Moscow: Nauka.

- Munkásci, B. (1896). *A votyák nyelv szótára*. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia.
- Napolskikh, V. V. (2007). Proiskhozhdenie samonazvaniia vepsov v kontekste etnicheskoi istorii Vostochnoi Pribaltiki [The Origin of the Veps Self-Designation in the Context of the Ethnic History of Eastern Baltic]. *Voprosy onomastiki*, 4, 28–33.
- Napolskikh, V. V. (2024). K iranskoi etimologii etnonimov *mari, meria, muroma* [Toward an Iranian Etymology of the Ethnonyms *Mari, Meria, Muroma*]. *Voprosy onomastiki*, 21(1), 9–26. https://doi.org/10.15826/vopr_onom.2024.21.1.001
- Napolskikh, V. V., & Savelyev, A. V. (2023). *Mari, meria, muroma* — istoria etnonimov i rekonstruktsiiia iazykov substratnoi toponimii [*Mari, Meria, Muroma* — the History of Ethnonyms and the Reconstruction of Substrate Toponymic Languages]. *Voprosy onomastiki*, 22(3), 9–30. https://doi.org/10.15826/vopr_onom.2023.20.3.029
- Napolskikh, V. V., & Surikova, O. D. (2024). Eshche raz ob etimologii etnonima *mordva* [Once Again on the Etymology of the Ethnonym *Mordva*]. *Voprosy onomastiki*, 21(3), 9–40. https://doi.org/10.15826/vopr_onom.2024.21.3.029
- Nissilä, V. (1959). *Suomi-nimen ongelma*. *Virittäjä*, 63, 292–305.
- Popov, A. I. (1973). *Nazvaniia narodov SSSR. Vvedenie v etnonimiku* [Names of the Peoples of the USSR: An Introduction to Ethnonyms]. Leningrad: Nauka.
- Prokofyev, G. N. (1935). *Sel'kupskaia grammatika = Nauchno-issledovatel'skaia assotsiatsiia Instituta narodov Severa. Trudy po lingvistike. T. 4: Sel'kupskii (ostiako-samoedskii) iazyk* [Selkup Grammar = Research Association of the Institute of the Peoples of the North. Linguistic Studies. Vol. 4: Selkup (Ostyak-Samoyed) Language]. Leningrad: In-t narodov Severa.
- Radanovics, K. (1963). Über die Ursprung einiger finnisch-ugrischer Völkernamen. In G. Ortutay (Ed.), *Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum I* (pp. 98–104). Budapest: Akadémiai kiadó.
- Rédei, K. (Ed.). (1986–1991). *Uralisches etymologisches Wörterbuch* (Vols. 1–3). Budapest: Akadémiai kiadó.
- Smirnov, O. V. (2013). K voprosu o permskom toponimicheskem substrate na territorii Marii El i v basseine srednego techeniiia reki Viatki (v svete etnicheskoi interpretatsii arkheologicheskikh kul'tur) [On the Permian Toponymic Substrate in Mari El and the Middle Vyatka Basin (In Light of the Ethnic Interpretation of Archaeological Cultures)]. *Voprosy onomastiki*, 2, 7–58.
- Trubachev, O. N. (1974). Rannie slavianskie etnonimy — svидетели migrantsii slavian [Early Slavic Ethnonyms as Evidence of Slavic Migrations]. *Voprosy jazykoznanija*, 6, 48–67.
- Zsirai, M. (1937). *Finnugor rokonságunk*. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia.